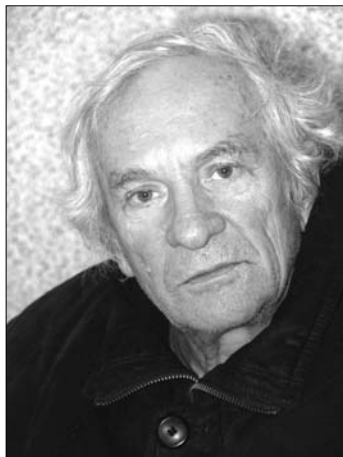


ВИКТОР ЛИХОНОСОВ



ВЕТХАЯ ТИШИНА У ГИРЛА

РАССКАЗ

Если бы знать, что ожидает нашу ровную советскую жизнь, если бы Сам Господь насторожил нас на несчастную перемену и прочие бедствия, больше бы дорожили отпущенным благом, успели бы ещё пожить в охотку, ничего такого, что не достанется запросто потом, не упустить, всякой всеми вместе нажитой привычной привилегией воспользоваться. О если бы, если бы....

Всё в той потерянной жизни обходилось проще, непритворливой, дешевой, можно было устремляться во все концы и нигде вдалеке не пропасть.

Теперь есть о чём пожалеть... Зря я не торопился, не объездил даже те земли, где меня приняла бы родня. В Ташкенте жил брат отца Тимофей Фёдорович, который к братьям Степану и Петру ни разу в Новосибирск не выбирался; до войны и после войны подняться в дорогу из Средней Азии — это целая история, хотя наши елизаветинские хохлы в Кривощёкове не раз попадали в бригаду проводников, ездивших в Ташкент и Ашхабад и привозивших, помню, вкусный урюк. По отцу родня была не той заботливой дружной породы, что со стороны матери (ласковая, щедрая, никого из своих не забывавшая). С двоюродными сестрёнками и братишками я и виделся чаще и знаюсь до сих пор, а по отцовскому корню дружил только с тремя сестрёнками, любившими и жалевшими “тётю Таню”, мою матушку. В Ташкенте

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович родился в 1936 году на станции Тотки Кемеровской области. Детские и школьные годы прошли в Новосибирске. Окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Автор книг “Вечера”, “На долгую память”, “Осень в Тамани”, “Элегия”, романов “Когда же мы встретимся?” и “Наш маленький Париж”. Лауреат Государственной премии России и международной премии имени Шолохова. Главный редактор журнала “Родная Кубань”. Живёт в Краснодаре.

могла бы застрять моя биография, если бы дядя Тимофей не испугался, что я приеду поступать в институт и потесню его семейство: на жалобную просьбу мою он не ответил. И может, к лучшему. Не было бы у меня Тамани, Пересыпи, не написал бы я роман о Екатеринодаре и не встретил в хуторе у речки Псебепс моих спасителей Терентия Кузьмича и Марию Матвеевну, о которых мой первый рассказ “Брянские”. И уж ни за что не переехала бы из Сибири в Ташкент или в Ургенч моя матушка.

Ашхабад, Душанбе, Алма-Ата промелькнули для меня только в разговорах и в литературе. Да и в Тбилиси не проскочил я покопаться в архиве в фонде царского наместника на Кавказе. И поездом Симферополь-Баку не прибывал я к азербайджанским писателям. А в Махачкале не посидел на вечере Расула Гамзатова и не постоял там, где князь Барятинский встретил пленного Шамиля.

Всё откладывал и надеялся на другие дни. Вся земля общая, успею. А потом уж, когда после ельцинского переворота стакан чая на вокзалах стоил сто рублей и всюду можно было ожидать разбоя, много не наездишься.

Да и поздно уже, мои сроки прошли.

Самая короткая моя дорога — в Пересыпь и в Тамань. У гирла, вытекающего из Ахтанизовского лимана и впадающего в море, сижу я среди чачек, разгребаю ракушки и с кем-нибудь далёким разговариваю. Мне легко кого-то приплетать к себе. Побуду с одним, перемолвлюсь вдаль словцом, подцеплю другого: нынче со мной ты, так послушай, как ворочаются волны, вбрасывают ракушку, за день нагребут целую горку. Я один, со мной только чайки — над водою, на песке. Впереди, к востоку, с гравюрной чёткостью виден холмистый край Голубицкой, именно там белый маяк, от которого я, приближаясь, всегда приветствую душой Пересыпь и лукоморье. А на западе под тучами гнётся серпом Кучугурский берег, и за мысом, если стать там на круче, можно разглядеть Керчь. Повернусь к востоку — подумаю о нашем нежном зауральском писателе в сосновой деревне у Тобола и протянусь в Сибирь, к родным берегам Оби.

А нынче ты, мой быстроногий вятский летописец, перебираешь со мной мокрые ракушки. Ты скачешь по белу свету, как молодой, двенадцатый раз падаешь на колени у Гроба Господня и ещё подаришь мне книжки о пядях земных и “море житейском.” Я же с тростинкой хожу вдоль воды, и хрустят под моими подошвами ракушки.

Никуда далеко не выбираюсь, самая длинная моя дорога — сорок вёрст, в Тамань. Вчера там был. В той, голубчик, Тамани, где построил монастырь преподобный Никон, где (уж позволь напомнить тебе лишний раз) вытеснялись век за веком греки, татары, черкесы, генуэзцы, турки, где Суворов шил чай с запорожцем Захарием Чепигой, а лёгкий молодой Пушкин постоял мгновение на круче, печальный Лермонтов невзлюбил слепого мальчика, где высаживался на берег по пути в Екатеринодар Александр Второй и ночевал, может, в какой-то хате, в той самой Тамани, где спустя много десятилетий нечаянно, но только для тебя одного возникла девочка Надя и притянула тебя однажды за руку полюбоваться горою Лыской и Керчью. В этой, о Господи, Тамани не пристают уже четверть века к берегу катера и не качаются на волнах лодки рыбаков и столько же не плачет у морской камки та самая девочка, которую ты выманул в Москву навсегда.

Вы не пишете мне из своего знаменитого Камергерского проезда, не вспоминаете меня и мои пересыпские углы. А я нет-нет, да и полистаю твои страницы.

Нынче целый день ленился во дворе, разговаривал с матушкой, перечитывал ей письма из Топок, Запорожья и Петрозаводска, перебирал и раскрывал книги.

“В Вифлееме, — пишешь ты, — я жил целых десять дней. Как же я любил и люблю его! И какое пронзительное, почти отчаянное чувство страдания я испытывал, когда во второй раз завезли нас в Вифлеем на два часа. Да ещё и подталкивали: скорей! скорей!”

Я тоже бывал в Вифлееме, спускался к яслям Христовым на одно мгновение.

“К счастью, — пишешь, — я много минут был один-одинёшенек у Вифлеемской звезды, у яселек”.

А я был в маленькой толпе писателей, и в то мгновение не понравились мне наши знаменитости: они постояли и поглядели на всё, как туристы, не крестились, не подползали на коленях к звезде — такая была на лицах привычная учёность, усталая мудрость, будто они сами явились из древности, звезду в небесах заметили раньше пастухов и в сей миг ждут почтения к себе. Неужели игумен Даниил в XII веке, описавший своё *хожение* в Константинополь и Иерусалим, был темнее и достоин “милостивого снисхождения” просвещённой братвы? Не поленился, отыскал его томик.

Видел ли ты в двух верстах от Вифлеема “заброшенную часовню в масличной роще” во имя ангела-благовестника? О ней пишет Фаррар, его тяжёлый том “Жизнь Иисуса Христа” я разворачиваю в канун святых праздников... Отчего так? У Фаррара и в старых книгах о Святой земле рисунки, гравюры, первые фотографии украшают мотивы священных преданий с какой-то чудесной допотопной ветхостью и так чутко притягивают к Богу, к молитве, что весь как-то мигом смиряешься, вздохнёшь, поклонисься равнинам Галилеи и Иерихона, заложённым окнам церкви Гроба Господня, холмам и низинами с библейскими овцами.

Теперь, в тесноте цивилизации, трудно собрать чувства, как в старину.

Разве что в позднюю осень пустота намекает на нетронутую песчаную округу (где нынче Голубицкая и Пересышь), вечно одинокую в те стародавние времена, когда греки плавали мимо по Меотиде и из Ахтанизовского лимана выгибалась протока пошире нынешнего гирла. Я у гирла-то и вспоминаю тебя, держу твою паломническую книжку “Незакатный свет”. Чайки в кучке белеют грудками и будто следят за мной. Никого! Пустота в море и в небе, и кажется, за высоким берегом в посёлке всё вымерло. И эта мелодия тысячелетней пустоты в этих окрестностях слышна мне.

Но что я тебе посылаю свои вздохи? Ты далеко-далеко от меня и ничего не угадываешь, и зависти моей не чувствуешь. Всё-то ты повидал, всему поклонился, крестики освятил, камешки подобрал и там, где крестили княгиню Ольгу (в Айя-Софии), предполагаемый уголок облюбовал, а я, бедный, лишь чайкам читаю твои признания: “Прощай, Стамбул! И да живёт в наших душах Царьград, столица Византии, город храма Святой Софии, Влакхернской иконы Божией Матери...” А ещё я не забываю, что ты по девять часов стоял на молитве в Пантелеймоновом монастыре с монахами, двенадцать раз падал на колени у Гроба Господня, босиком шёл к Иерихону.

Здесь, у гирла я начал писать в тетрадке о поездке писателей на Север и после первой странички не могу стронуться дальше. Нет подходящих слов. Всё затаённо-дорогое остаётся тонкими волосками в тебе, тянется долгим напевом, слова убоги.

Теперь, после того, что случилось в нашей стране в конце века, отражается во мне какая-то другая жизнь, поездка наша кажется прощальной, и потому прощальной, что больше такое не повторилось, хотя до ельцинского переворота начислялось ещё целых десять лет. Так много утекло воды и столько из той компании покинуло Божий свет, что мне теперь горько выбирать мгновения, жалеть, что их больше так не прожить. Вот на Ленинградском вокзале появляются писатели-“деревенщики” и радуются друг другу, как родственники: Сергей Зальгин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крушин, Виктор Потанин, Анатолий Ким, Владимир Личутин, Владимир Гусев, Владимир Коробов, Борис Романов, добрый покровитель русских почвенников Валерий Ганичев и ещё кое-кто; в Петрозаводске и Мурманске пристанут к ним Дмитрий Балашов, Владимир Бондаренко, Виктор Маслов.

И это я, бывший школьный учитель под песчаной Анапой, в сей честной компании? Теперь только восклицаю: о, как посчастливилось!

Рассказ “Брянские” и повесть “Люблю тебя светло” вытянули меня в писатели. А то так бы и забили меня в школе ученические тетрадки и педсоветы.

Так бы и не пристал близко к Распутину, Астафьеву, Белову, Балашову, Олегу Михайлову, вообще никогда не послушал бы их за обедом,

на прогулке. А что уж говорить о писателе из зауральского села Утятка, о моём окрещённом тесными узами Викторе Потанине, который о чём-то спросил меня в издательстве “Молодая гвардия”, да так и не переставал спрашивать десять лет. Мы с ним поместились в одном купе с Астафьевыми. Марья Семёновна сказала: “Ну, вот аж три Вити у меня стало, а то был один, да и тот стал надоедать”. И мы как-то семейно захохотали. Так же по-семейному расселись трапезовать, к нам добавилось ещё человек пять, сплотились бок о бок, и началось. И вот не воскресить этого! Ни речей, ни гогота, ни лиц не закрепилось механическими секретами. И строчек в тетрадках, в блокнотиках не спряталось ни у кого. Мало дорожили мгновением? Жили и жили. А что запомнилось — теперь как золотая песчинка. Даже такое: ночью я слез со второй полки и не мог повернуть рычажок в двери; Астафьев услышал, поднялся, дёрнул ручку и выпустил меня. Мне было неловко, что разбудил... старика. А было ему всего пятьдесят семь. Недавно одолел я восемьдесят. И то, как я когда-то неловко разбудил Виктора Петровича, нет-нет да и привидится мне, и я загрузу на мгновение.

Утекли годы водою. Какую-то другую жизнь застали мы. Поездка на Север кажется нынче прощальной, именно кажется, потому что ничто не предвещало крутых перемен и катастрофы.

То был наш счастливый дружеский миг на земле. Расставание будет не скоро. Миг был в Мурманске, в Апатитах, Североморске, Кандалакше, а раньше всего в Петрозаводеке, где я обрадовался появлению Дмитрия Балашова. Володя Бондаренко, больше известный в Малом театре, чем в литературных кругах, позвал на обед к родителям. Я ждал Балашова. И он возник на пороге, низенький, в сапогах, похожий на русского князя в учебниках истории. Толстые свои романы писал он за одну зиму, жил в деревне, держал корову, лошадь, сам косил траву, срубил избу. Я его побаивался. А вот Астафьев на него как-то привередливо косился. Чем-то он стал ему неутоден? Может, даже этими вот мягкими сапогами, пояском на рубахе, невниманием к литературной знатности Виктора Петровича. В комнате с книжными полками он вынимал какой-нибудь томик и ставил назад, вынимал, взглядывал и хлопал корочкой, наконец, вытянул сочинение Балашова, укрылся от нас у окна, перелистывал, читал с подозрением. Тут громко вошёл сам Балашов.

— Всё знает князь Дмитрий, — сказал Астафьев. Умноглазый Балашов слушал так, будто говорил не про него. — Он и в Царьграде, как свой, все углы Айя-Софии обсмотрит и патриарху Филофею руку облобызает так умело, что мы, чалдоны, позавидуем и через пять веков. Откуда такое? — Астафьев как-то нарочно разыгрывал удивление, а Балашов всё смотрел в пол. — Вон ему сам Мамай сказал, что станет вторым Батьем. Всё знает и пишет, аж залюбуешься: как это можно подсмотреть и подслушать через целые столетия? “Князь Дмитрий сидел у себя в спальне рядом с Дуней, а та навалилась ему мягкой грудью в колени и плакала”. Да не было ли такой Дуни и у автора?

— И не одна, — признался Балашов строго.

— “Он... — послушайте! — посопел, потоптался, шагнул, привлёк её к себе, мохнато поцеловал в лоб”. Это когда вы так мохнато целовали и кого? Пойду-ко и я свою Марию поцелую, — съёрничал Астафьев и рукой приобнял невозмутимого Балашова, повёл к столу.

А я задержался и снял ту же книгу, прямо распахнул её. И....

“Все эти люди умерли, от большинства из них даже не осталось могил. Ражие посадские молодцы, румяные девки состарились и сгинули тоже. Много раз сторали и возникали вновь хоромы. Исчезали деревни. Все они нынче в земле, и мы не ведаем больше того, что скупо отмечено летописью, не знаем сказанных слов и только можем догадываться, о чем мог говорить князь, воин, девица...”

Я как раз писал роман о Екатеринодаре, и та же мелодия сожалений прокралась в мою душу. Я слышал, как в другой комнате за столом Балашов ругает Петра Первого, а позже, когда вошёл, услышал уже: “А теперь и на Севере того нет... Я вчера написал про теремных затворниц, про страсти их тайные да про то, как с одного слова ласкового, походя сказанного,

с одного взгляда, с шутливой перебранки за углом бани девица приготовилась ждать (да не один год) того, кого почла своим, вечным”.

— Так мы и выпьем за возвращение теремных затворниц! — сказал я, и все ахнули в поддержку.

А может, я уже выдумываю? Тот застольный миг тоже растянулся дымом, исчез; легче Балашову было описать баб за прятками при татарах, чем мне петрозаводское застолье тридцать лет назад.

Я следил за одним Балашовым. Он спрячется в своей деревне, в Москве я его не увижу, а страсть как хочется послушать его, такого редкого русича, который живёт древностью и сегодняшним днём и чем-то выше нас, не знающих толком ни Владимира Мономаха, ни Ивана Калиту, ни Сергия Радонежского. Только через девятнадцать лет его убьют под Новгородом, где я ещё раз видел его на спектакле в Юрьеве монастыре, и на плясовом гулянии с народом, и у него дома за трапезой в славные дни празднования 1000-летия Крещения Руси. Уже после смерти матери, в декабре 99-го, шел я с ним чай в подвале нашего Союза писателей в Москве, и он обещал будущей весной пожаловать в Тамань, и в январе я начал писать ему напоминание, но тут его и не стало. Что-то такое дивное, неожиданное высказывал он тогда за чаем, но всю эту редкую вязь слов я не записал, а после мне не хватило дара восстановить. Жалею и по сей день, что не постоял Дмитрий Михайлович на той круче, с которой Пушкин видел Керчь (Корчев).

Да и все годы как-то пусто без него на самых опасных пядях сражений. Равняю в жалости к нему судьбу его с судьбою Василька Теребовльского, князей Бориса и Глеба; и убил его, может, такой же Святополк. Помню, как я по-детски горевал, когда упоминал в “Осени в Тамани” о Васильке. Не тогда ли Господь вывел меня за руку на тропу сочувствия несчастливым кубанским казакам и прислал ко мне кроткого Попусйшанку?

Балашову показал бы я береговую долину в Пересыпи, повёз за Ахтанизовскую на гору Бориса и Глеба, услышал бы от него то, чего никто мне теперь не скажет, погадал бы с ним, где преподобный Никон основал монастырь, спустил бы его в наш погреб, нацедил холодного вина, а матушка постаралась бы нас покормить и потом, спустя время, спросила бы меня: “Так он чо — тоже писатель? Больно лобастый”. Не случилось.

Мы путешествовали по Северу, а матушка меня каждый день “сопровождала”, чувствовала, как я встречаюсь с тётёй Пашей, даже присоединялась издали к нашей беседе, радовалась тому, как бы и она поговорила со своей деревенской подружкой. Сорок лет не виделись они, тётя Паша уехала из Кривощёково в Карелию вслед за дочкой, и больше уж им не увидеться на этом свете, и я, каюсь, не догадался уговорить родню на поездку в Елизаветино. Всех собрать на один миг! Отец тёти Паши Григорий записан в церковной метрической книге при крещении отца моего — Иоанна.

И больше я ничего не знаю. Все годы после её отъезда я только и слышал жалобные возгласы матери, что нету теперь на болоте тётя Паши, да читал письма из Карелии с причитаниями: как плохо привыкать после Сибири к чужому краю.

“Сообщаю, — повторяю я нынешним вечером за письменным столом строчки тягучим напевом, пальцем вожу по строчкам, — что мы твоё, Таня, долгожданное письмо получили, я была рада, что и не описать. Мы были с тобою близкие подружки, а теперь столько лет не виделись. Мне уже 73 года. Было время, смеялись в Кривощёково, хохотали из-за всякого пустяка, а теперь всё отошло, дождётся вечера, так скорей на койку. Вспомнишь, как мы жили в Кривощёково, сколько таскались с коровами, стояли на базаре за прилавком с молоком, варенцом, ещё и успевали друг у друга посидеть, гостей принять. Ты пишешь, что никак не можешь забыть Сибирь, конечно, милая — трудно забыть, жизнь некороткая прошла там, и мать там схоронила, а теперь как привыкать без своей улицы и болота внизу? Один сын, и то не рядом. Значит, так Богом дано. Дядько Тышко в нашей воронежской деревне умер; к нам в эту зиму приезжали оттуда, много про кого говорили, ну... я уже некоторых забыла. Охота поехать. Жду Витю, едет с писателями, пусть к нам зайдёт. Твоя Парасковья Григоровна”.

Дочь Маруся приводила её на станцию попрощаться и ещё раз передать привет “подружке Тане”. Старушка чистенько принарядилась, стояла молоджаво-худенькая в плаще, на голове — плотный платок, нос тонкий, на одном глазу крошечное бельмо. Я подвёл к ней писателей.

“Мама выпрямилась перед ними, как царица... — писала нам в Пересыпь Маруся, — руки скрестила на палке, они один за другим подходили с поклоном, каждый что-нибудь сказал вежливое, а Витя всех называл, ну, прямо как Брежневу представляли маму, мы потом смеялись дома: “Мамо, это на вас не похоже, вы, как царица Екатерина перед ними, вы ж не той породы и не начальство, чтоб так строжиться... — А как я? — отвечает. — Они подходят, я благодарю, я книг не читаю, но це ж Витины товарищи, пишут чего-то, так ладно, я здоровкалась, а один постарше сказал: “Я тоже сибиряк. — А я не сибирячка, я воронежская, кого выслали, а Лихоносовы, Витины мать и отец, сами поехали в Сибирь. — Порода”, — сказал Астафьев. — “Наша порода в деревне славилась. Осыкины. Осыкин пруд был. И Гайворонские. Лихоносовы похуже, их по улице называли Голычёвы”. Я, тётя, люблю книги читать, и рада, что увидела Астафьева, Белова. Белов сердитый, бурчит, сразу маму спросил: “Сколько коров было перед высылкой?” Распутин Валентин высокий, молчаливый, но добрый. Потанин, читала его повесть “Над зыбкой” и плакала. Личутин, росточку невысокого, разговорился, чуть на поезд не опоздали; Балашов — наш, петрозаводский, только посмотрел в глаза да так долго. А Крупин подарил маме иконку из Иерусалима, он там был. Мама была довольна. “Тане напишу, — сказала, — какие у Вити хорошие друзья. Витя один у нашей родни выучился на писателя. Слава Богу. А был ну такой смиренный, слова не допросишься”.

Матушка много раз перечитывала письмо из Петрозаводска, уходила на огород и там продолжала переговариваться с тётей Пашей, тихонечко жаловаться на свою долю.

В дневнике моём сказано, что я дописывал главу, в которой Попсуйшапка рассказывал в поздние годы Толстопяту о смерти его сестры Манечки. К дню рождения Лермонтова я поехал в Тамань, оттуда — в греческое село Витязево к дочери знаменитого атамана станицы Благовещенской Константина Юхно — ещё раз расспросить, ещё раз понадеяться на что-то чудное, ещё раз помянуть всех, кого давно нет.

У гирла всегда поджидали меня скорбившиеся чаечки. Я и нынче с ними. Перебираю ракушки, читаю, пишу и гадаю, не ходит ли сейчас босиком в Вифлееме мой вятско-московский дружок?

Он сейчас не слышит, как я с ним любезничаю вдали, но когда-то, если допишу свои слезные страницы, прочтает. Будем мы уже старенькими. А не читает ли меня московский вятч в те же часы где-нибудь в своей деревне, как я у гирла в Пересыпи? Вот они, его строчки: “Четыре места на белом свете, где живёт моя душа и какие всегда крещу, читая вечерние молитвы. Лавра, преподавательская келья. Никольское. Великорецкое. Кильмез. Конечно, московская квартира”.

А что у меня, кроме гирла? На дорогах углах моих топчусь я на всех страницах. Аминь.